

Май случился душным. Поля и леса высыхали, осатаневшие слепни сосали все живое и движущееся. Дворовые собаки, одурев от жары, забивались под плетень и весь день лежали, замерев в одной позе, тяжело дыша и высунув язык. Люди сдавленно матерились, работали, поливали чахлые огороды. Под вечер чуть отпустило.

Всю ночь Маша спала беспокойно, вздрагивала, шептала во сне бессвязное. Окна в доме были распахнуты, но раскаленный воздух не успевал остыть, и плотная, вязкая духота впитывалась в обветренную кожу. Потели спина и плечи, ночная рубашка намочка, широкий лоб блестел в свете жирной луны, как начищенный медный таз. Несколько раз она просыпалась, устало и машинально отирала пот мокрым полотенцем и засыпала снова, тяжело дыша, зачем-то прижимая руки к животу.

К утру духота спала, на короткий час в воздухе повеяло прохладой. И Маше приснился запах сына. Сладкий и кислый одновременно. Как цветной рафинад, вымоченный в козьем молоке. Она проснулась с этим запахом, закусил губу и заревела в подушку.

Детей Маша хотела страстно, жадно. Эта ноющая бабья тяга сверлила нутро и мешала дышать полной грудью. Она заглядывалась на деревенскую ребятню, и в такие моменты лицо ее озаряла блаженная улыбка предвиденья, предчувствия.

Родители Маши умерли в один день. Дом их стоял на краю деревни, заваливаясь в овраг. Семья жила бедно и не могла платить пастуху, поэтому за коровой доглядывала Маша. Это ее и спасло, когда рухнули подгнившие перекрытия и дом сложился. Разобрав завалы, отца и мать долго не могли достать: так крепко вцепились они друг в друга перед смертью.

Гроб колотил старик Осип Давыдов, сосед и вдовец. Большой был гроб, один на двоих. Не пожелали старики разжимать пальцы. Лежали в гробу смиренные и тяжелые, страшные и пустые, высосанные до дна. Лица их затвердели. И так тяжело, не по-родному пахло от родителей, что Маша не смогла поцеловать их, глотая комок отвращения, застыдилась своих чувств и в рев заголосила.

Осип Давыдов взял девушку к себе. Расписался с ней законным браком, но притронуться по-мужски не смел. Да и сил в нем уже не было.

– Ты живи, дева, живи. И не бойся меня.

– Я не боюсь, Осип Макарович.

– Господь не зря нас сковырнул, значит. Что-то будет...

Встала Маша легко, с какой-то сладкой разбитостью во всем теле. Умылась. Гремя ведром, вышла на улицу. Из коровника донеслось протяжное мычание – Клякса томилась от наполнившего вымя молока.

– Сейчас, сейчас, – прошептала Маша. Еще раз втянула носом воздух, но ночной запах пропал, остался в предсонье.

Днем снова свалилась жара. Работы было много: накормить скотину, прибраться по дому, приготовить обед, полить огород, натаскать воды из колодца, постирать белье.

Белье Маша стирала в речке, как и все бабы. Спустившись к плесу с полным тазом грязных рубашек, простыней и наволочек, Маша, опрокинув таз на землю, сладко потянулась и вдруг замерла от странного чувства наполненности во всем теле. Будто живительные токи побежали по венам, и не было ни жары, ни усталости – только необычайная легкость и гибкость в членах. Маша представила себя кошкой, греющейся на подоконнике, но готовой в любой момент ловко взорваться и, представив, зажмурилась в предвкушении чего-то волшебного.

– Доброго дня, красавица.

Девушка вздрогнула и обернулась. На пригорке стоял крепкий, щетинистый мужик, не местный, хитро щурился на солнце и катал соломину в углу рта.

– Доброго, – произнесла с опаской и поправила подол платья.

– Да ты не бойся, не укушу, – улыбнулся незнакомец.

– А чего мне бояться? – ответила Маша, плотнее сжимая пральник.

– Местная?

– Ну, допустим.

– Как звать?

– Как звать – свои знают, а до чужих дела нет.

– Ишь какая...

Мужик легко спрыгнул с пригорка и, ловко перебирая ногами, засеменил вниз, к реке. У Маши отчего-то перехватило дыхание, но не от страха – от другого, ранее неведанного чувства.

– Меня Гаврилой звать. Будем знакомы.

Маша не спешила отвечать. Откинув пральник и уперев руки в бока, внимательно рассматривала путника, его крепкую, ладную фигуру, жесткую щетину, озорной прищур в черных как ночь глазах.

– И откуда ты взялся, Гаврила?

– Домой возвращаюсь. Нахаловку знаешь?

Маша кивнула. Нахаловка была большой деревней, километрах в тридцати от Назарьевки по дороге в райцентр. Там поселилась Машина сестра Елизавета с мужем Захаром.

– Вот там и живу. То есть жил раньше.

– Раньше?

- Десять лет не был.
- Что ж так?
- Лес валил для советской власти.
- Долго.

Мужик осклабился:

- Десять лет можно на одной ноге простоять.

Только сейчас Маша заметила выцветшие чернильные рисунки на тыльных сторонах его ладоней. Гаврила перехватил ее взгляд.

- Руки мои, как книга. Свои прочтут, а чужие глаза сломают.
- Загадками говоришь.
- Какие уж тут загадки.

Он сделал шаг ей навстречу, чуть ближе допустимого, но Маша не отодвинулась. Только грудь ее стала вздыматься чаще и сладкие мурашки пробежали по позвоночнику. Будь что будет, подумала. Мужик выплюнул истрепанную соломину, медленно протянул руку и коснулся девичьего плеча. Машу будто током ударило.

- Десять лет такой красоты не видел...

Молчала. Не могла отвести взгляда от его властных, голодных глаз.

И тогда он рванул ее к себе, сжал крепко, как целый мир сжимают. И Маша оторвалась от земли и поплыла, поплыла...

Потом лежали на песке, тяжело дыша. И был стыд, и боль, и сладость в животе. В ногах валялось нестираное белье.

Гаврила схватил Машу за руку и зашептал жарко в самое ухо:

– Ты не думай, я не просто так. Пойдем со мной. Горя знать не будешь...

– Нельзя.

– Пойдем, пойдем...

– Замужем я. Уходи.

Маша тяжело поднялась, собрала белье. Духота дня навалилась на нее, как наказание за грех. Гаврила натянул штаны, стряхнул с колен дорожную пыль.

– Как знаешь.

Постоял немного, выжидая, и стал подниматься по пригорку, к дороге. Обернулся напоследок и произнес:

– Зовут-то тебя как?

Ничего не ответила, взяла из кучи мужнину рубаху и пошла к воде.

Стыд и радость замешались в девичьей душе, дни наполнились иным содержанием: страхом, тайной, предчувствием. Маша жила как во сне, не чуя под собой ни времени, ни земли, не думая о том, что будет. Щеки ее горели от воспоминаний, а внутри тяжелела новая жизнь.

В июле Осип решил зарезать свинью. Маша вышла во двор и вдруг остановилась как вкопанная, не в силах пошевелиться. Смотрела, как муж с соседом Колькой Грымовым тянут из свинарника связанное животное, как подтягивают задние ноги к вбитому у поленницы металлическому штырю и плотно привязывают. Колька навалился на свинью всем телом, прижимая ее к земле. Свинья визжала, чуя смерть, и этот ржавый визг, заполнивший пространство, не давал Маше пошевелиться. Осип поднял длинный узкий нож и, наклонившись, точным и резким движением вогнал свинье в шею, перерезая яремную вену. Хлынула кровь.

– Чего встала! – закричал муж. – Тазик тащи...

Маша подошла на ватных ногах, ничего не сообщая, и подала белый эмалированный тазик.

– И ведро давай, значит.

Кровь стекала быстро. Наполненный до краев тазик Осип сливал в ведро и снова подставлял под струю густой темной крови. Свинья дергалась все медленнее.

– Шалит, паскуда, – улыбнулся Колька. – Сейчас обосрется.

Предсмертные спазмы скрутили тело животного, и желудок опустошился. Запах дымящейся крови и испражнений пропитал воздух. У Маши закружилась голова. Девушку вырвало.

– Тю, – присвистнул Осип. – Иди в дом, неженка.

В этот день она слегла и провалялась неделю. Позывы рвоты накачивали волнами, и Маша не могла их сдерживать. По ночам ей снились тяжелые, муторные сны. Вот она рождает посреди поля, а вокруг вся деревня стоит, бабы, мужики, пацанва, смотрят, и никто не поможет, не подойдет. А потом приходят ее покойные родители и приносят поросенка. «Вот, – говорят, – это сынок твой». – «Как же так, мама?» – «Ну, что же, бывает. Ты расти его, сиську давай. А как подрастет – зарежем». – «Что ты такое говоришь? Ведь внук твой». – «Так-то оно так, но ведь не помирать с голоду из-за этого». Маша берет поросенка на руки, прикладывает к груди, а у того из шеи начинает хлестать кровь. Или снится ей Гаврила, идет по дороге в Нахаловку, а она чуть сзади, окликает его, но мужик не оборачивается. И тогда Маша начинает бежать за ним, но почему-то никак не может его догнать. Выбившись из сил, она кричит ему в спину: «Меня Машей звать, Машей!» Гаврила оборачивается, а вместо лица у него свиное рыло.

К концу лета живот у Маши начал расти. Первыми заметили деревенские бабы. Нюрка Грымова сначала долго косилась на ее живот, что-то нашептывая про себя, а потом в лоб спросила:

– Ты не брюхатая часом, мать?

– А тебе что за дело?

– Ох, ты, бог-ты, дает Макарыч... Или это не от него? Ась? – Нюрка облокотилась на забор и плотоядно облизнула губы. – Ты скажи, наше дело бабье.

Маша вырвала из грядки плотный кругляш свёклы и со всей силы запустила в соседку. Полетела земля в разные стороны.

– Ты чего, сдурела? Или правда рыльце в пушку?

– Топай давай.

– Больная...

Но слух пошел. И не спрятаться было от этого слуха. Как бы хотелось Маше провалиться сквозь землю и никогда не выбираться на свет. Тоска грызла ее изнутри. Но вместе с этим рождалось в ней и другое чувство: упоенность женским предназначением. Так росток пробивает камень и тянется к солнцу.

Настал день, когда она открылась мужу. Думала, будет мучительно стыдно, а произнесла вслух – и как гора с плеч. Стояла бесшабашная и спокойная. Глядела прямо. И эта прямота растравила мужика, озлила. Осип Давыдов ударил хлестко, без замаха. Маша отлетела к печи, бухнулась на пол, как куль с мукой. Осип отвернулся и, не глядя на жену, выплюнул:

– Пошла вон, потаскуха. Чтоб духу твоего здесь не было.

Больше он ей ничего не сказал.

Маша собрала вещи и отправилась в Нахаловку, к сестре.

Засветло она дойти не успела и заночевала в поле, у дороги. Поужинала хлебом и огурцом и, положив сумку под голову, зарылась в луговую

траву, укуталась полынью и растворилась в душистом травяном запахе. Зажглись звезды над головой, яркие, сочные. Маша глядела в ночное небо, а душа наполнялась покоем и благодатью. Будущего не существовало, а настоящее было внятным и верным. Ночь звучала трескотней цикад. Тянула болью распухшая от удара щека. Но все это было неважным по сравнению с новой жизнью, зреющей у нее в животе. И в этот момент ребенок пошевелился. Маша замерла, прислушиваясь к самой себе, к ощущениям и вдруг улыбнулась: небу, цикадам, полю. Рыбка в животе проплыла.

Лизавета работала в огороде. Маша вошла во двор, окликнула ее. Та поднялась, тяжело и охая, вытирая потный лоб тыльной стороной ладони, так что грязные разводы от земли бороздами прочертили кожу. Лизавета с минуту смотрела на сестру и вдруг звонко расхохоталась.

– Чудны дела твои, Господи! Ты-то когда успела?

– Успела.

Только тут Маша заметила крупный, выпирающий живот сестры.

– А я-то тоже... вот-вот рожу, – продолжала сквозь смех говорить Лизавета. – Тут столько всего, Машка, столько всего... Давай проходи. Какими судьбами? Откуда? Почему одна?

Маша подошла к сестре и расплакалась.

– Эй, ты чего? Ну, будя, будя.

Лизавета с улыбкой погладила Машу по щеке и вдруг скривилась от боли, ойкнула и вцепилась сестре в плечо.

– Что такое? – испуганно спросила Маша.

– Ничего-ничего, толкается, родненький... Сейчас пройдет, давай в дом.

В сенях Лизавета прижала Машу к стене и зашептала в самое ухо:

– Захара увидишь – молчи. Он как узнал, что я на сносях, замер как вкопанный, а потом затрясся весь, зашипел, пена изо рта пошла. Приступ, значит, падучая у него открылась. Пока люди сбежались, пока подняли, скрутили – язык себе то ли прикусил, то ли внутрь пропихнул, а вытащить не смог... Короче, чуть не задохнулся. Язык ему вытащили наружу, а он его ну кусать, до крови... Страсть что было. Потом побился, побился и затих. Два дня в горячке провалялся. А как очнулся – речь отнялась. Ни слова теперь сказать не может, только мычит все время.

– А ты... – начала Маша о главном, но сбилась. – От Захара ребенок?

– Конечно, от кого же еще.

Тишина пролезла в разговор.

– Ох, – поняла Лизавета. – А Осип знает?

– Знает.

– Пойдем в дом. Все потом, потом.

Захар вернулся вечером с работы, на приветствие Маши не ответил, и вообще как будто не заметил девушки. Как и сказала сестра, он все время молчал, лишь изредка, когда обращался к жене, прорывалось сдвоенное мычание, как у юродивого. И глаза в этот момент делались жалостными, коровьими.

Через неделю Лизавета родила. С утра начались схватки, и Захар позвал бабку-повитуху.

Лизавета громко кричала в дальней комнате: то тонко стонала, как русалка, то рычала по-звериному, звала маму, выла. Маша сидела за столом в большой комнате и комкала скатерть дрожащими руками. Ей было страшно. Неужели совсем скоро и она, такая живая, такая цель-

ная будет вот так корчиться и всем нутром рваться к небу?.. И длилось это часами. Бабка иногда выходила, набирала ковш парящего кипятка из ведра и снова уходила к Лизавете, плотно прикрыв за собой дверь. А Маше казалось, пока дверь открыта вот эти короткие секунды – все будет хорошо, ничего страшного не случится. Она заглядывала в проем двери и вымученно улыбалась сестре, но та не видела ее, никого не видела. Но как только бабка возвращалась и цыкала на нее и закрывала дверь – снова падал из горла в живот этот сосущий ужас.

Захар пил. Он снял с комода тяжелый гипсовый бюст Ленина, поставил на стол и осторожно чокался с вождем. Медленно наливал водку в стакан, до краев наливал, и так же медленно, вытянув губы вперед, втягивал алкоголь в себя. Гулко ходил вверх-вниз пшеничный небритый кадык. Потом он ставил стакан на стол, занюхивал куском черного хлеба и выдыхал сквозь зубы сивушное послевкусие. Гладил Ленина по лысине мозолистой ладонью. Волос на мужицкой голове был мягким, редким, не волос даже, а так, лебяжий пушок. Путался и топорщился. После выпитого Захар приглаживал его нетвердой рукой. Потом долго сидел молча, глядя прямо перед собой, буравя взглядом гипсовые очи вождя всех народов. Словно пытался вырвать у камня самый важный ответ. Но камень молчал. От этого молчания Захар темнел лицом и плотно сжимал зубы. И дрожала жилка на левой щеке.

Несколько раз приходили Захаровы старики, мать и отец. Топтались у порога, слушали крики невестки в соседней комнате и, помявшись, не сказав ни слова, уходили.

Что-то было не так. Чувство страшного и непоправимого песком набилось в рот. А потом наступила ночь.

Лизавета уже не кричала – ритмично хрипела сквозь зубы. Посеревший и страшный сидел Захар. Руки его дрожали. Лунный свет подсвечивал гипсовую лысину Ленина.

Вышла бабка.

– Худо все. Младенчик поперек идет, пуповину на себя намотал. Молитесь.

Снова набрала кипятку и ушла.

А Маша прислушалась к себе, и вдруг поняла, что страх ушел. Она знала, что делать.

Открыла дверь и вошла. Лизавета лежала на кровати, овальным яйцом горбился живот. Недобро зыркнула бабка.

– Уйди.

– Отдохни, бабушка.

– Что?

– Отдохни, я сказала.

Голос был спокойным и твердым, и бабка, не перечая, встала и проскользнула к двери.

– Сами нонче в ответе, – прошамкала напоследок.

Маша присела на край кровати, погладила сестру по вспотевшему, вымученному лицу. Та слабо повернула голову. Узнала, но улыбнуться не было сил. Лицо уже наполовину ушло в землю, откуда нет возврата.

– Все будет хорошо, милая. Теперь все будет хорошо.

Приложила губы к вздувшемуся, с синими прожилками вен животу. Ощутила тяжелый солоноватый вкус. И начала зацеловывать сестрин живот, нежно и аккуратно, чуть касаясь, щекоча губами.

– Помнишь, ты с Генкой на речке миловалась, а я подглядывала за вами, а потом мамке все рассказала, а та тебя мокрой тряпкой по двору



гоняла, а я сидела на завалинке и хохотала, дуреха, а ты потом на меня долго обиду таила, не разговаривала, а я потом Генке записки от тебя носила, а он приходил под окна и на гармони наигрывал, а потом война началась, и Генка на фронт ушел, а ты ждала, а он вернулся без ноги и с какой-то девкой, стали жить, а ты плакала по ночам, сохла по нему, а я залезала к тебе под одеяло и мы лежали так, обнявшись, всю ночь, до рассвета... – не говорила – заговаривала Маша, зашептывала, заколдовывала страшный, натянувшийся живот. И этот шепот пробуждал древние, спящие в природе силы, выманивал их из бани, из чердака, из леса, из полей. И силы, вынырнув из вековой дремоты, слетались к дому и кружили, кружили вокруг...

Начал толкаться ребенок в животе. Лизавета вновь закричала, но уже другим, обновленным голосом, выцарапывая саму себя из ямы, а Маша, сама проваливаясь в какую-то дрему, вдруг сжала сестрин живот двумя руками, направляя плод, подталкивая. Давила, и сама не ведала, откуда проснулось в ней это знание. Показалась головка ребенка. Лизавета вцепилась кривыми пальцами в простынь и вдруг посмотрела в глаза сестре долгим, ошарашенным взглядом. И было в нем и удивление, и надежда, и благодарность. И любовь.

– Тужься, родненькая, тужься, последний разок...

Заскочила бабка в комнату, всплеснула руками.

И тогда Лизавета заорала из последних сил, как орут идущие грудью на пулеметы, и младенец вышел из нее на свет, таща за собой склизкую пуповину. Бабка ловко приняла его, щелкнули ножницы, а Лиза, освобожденная, заревела от счастья, от того что осталась живой.

Не выдержав, забежал Захар. Пьяным, мучительным взглядом смотрел на жену. Колдовала бабка с ребенком, шлепала его, вертела, но мальчик молчал. И все видели, что это мальчик, Лиза видела, закусив губу. И ждали, ждали...

Вдруг Захар замычал:

– В-в-в-вы-ы-ы-ы-ы... А-а-в-в-в-в-а-а-а... В-в-в-а-а-а-н-н-я-я-я-а-а... Ва-а-ня... В-а-а-а-н-я-а-а-а!!

И сын заплакал нестерпимым, режущим первым плачем.

Маша легла на сестру поперек живота, вытянула руки и устало закрыла глаза. Хотелось спать.

Гостила она у Лизаветы три месяца, до середины ноября. Уже осенняя хлябь застывала по ночам, земля превращалась в холодный пластик. Выпал первый снег. Машин живот округлился, налился соком, сама она раздобрела, отяжелели руки, опухло лицо, а на лбу высыпали гречишным зерном нарывистые прыщи.

Как-то раз в начале осени увидела Маша Гаврилу. Пошла с Лизаветой на базар и на краю его, за овощными рядами услышала знакомый голос.

– Рыба! Накося – выкуси!

Он сидел с мужиками за длинным столом и играл в домино. Вокруг толпилась ребятня. На краю стола стояли бутылки, стаканы и нехитрая закуска на засаленной газете: хлеб, картошка, лепестки лука. Гаврилу был все тот же: кепка, щетина с проседью, спичка в углу рта. Только глаза большие и поплывшие, как у загнанного зверя. Он обернулся, скользнул по Маше глазами, но не узнал ее.

– Ты чего, – спросила Лизавета. – Лешего увидела?

– Почти.

– Пойдем, Ванька скоро проснется.

Они уходили прочь, и вдруг звонко, с разухабистой удалью пропел Гаврила им вслед:

– Горе-баба: дала коню – и конь сдох...

Маша не обернулась.

В конце ноября ранним морозным утром около дома остановилась старенькая полуторка. Из машины выпрыгнул Осип Давыдов и, закупив папиросу, спокойным, уверенным шагом направился к дому.

– Собирайся, – сказал он Маше. – Погостила, и будет. Домой пора.

Так Маша вернулась домой.

Муж ее поменялся за три месяца. Стал спокойнее, яснее. Так после причастия люди изнутри светятся. Ни разу он не попрекнул жену. Только по возвращению случился у них разговор.

– Ты ушла, а меня тоска за грудки схватила. Недели две маялся, потом в лес по грибы пошел. Царь-гриб нашел, огромный, шляпа – в мой обхват. А рядом с ним на полянке с десятков малышей. Жмутся, значит, к родителю. Я белый-то сорвал, а малышей не стал трогать. Думаю, пусть подрастут, через пару дней загляну. А потом прихожу – нет грибов. И следов никаких. Думал, померещилось, так ведь царь-гриб есть, три банки закатал. Что это было? До сих пор не пойму.

Маша слушала, потупив взор, не перебивала. А Осип продолжал:

– Но вот тогда и стало мне ясно, что не виноватая ты. Никто не виноват. Я старик, а молодость... Ее в тисках не удержишь. Травинка – и та камень бьет. А тут, значит, человек живой. Со своим представлением.

Осип замолчал, проглатывая главные слова, но они уже рвались из груди, не удержаться.

– Что ударил тебя – не жалею. Заслужила. Но боле бить не буду. Ребенку имя свое дам, моим будет. Но и ты не гуляй. Как помру – живи своим умом, а пока, значит, моим умом жить будем.

– Люди шептать начнут... – еле слышно проговорила Маша.

– Пушай болтают. Собака лает – ветер носит.

– Прости меня, Осип Макарович.

– Пустое. Так и решим, значит.

Деревня безмолвствовала. Маше казалось, что все смотрят на нее, смеются и шепчутся за глаза. Но люди посудачили и забыли.

В феврале объявили всесоюзную перепись. Надо было ехать в Житницк – райцентр в пятидесяти километрах.

Добирались на рейсовом автобусе. Новый ЗИС ходил по маршруту один раз в день. В Назарьевку он приезжал к восьми часам вечера.

В тот день ударили морозы, и с обеда началась метель. Осип с Машей вышли на дорогу и стали ждать. Автобус опаздывал на час. От ветра было не спрятаться. Он бил со всех сторон, заметая ледяную крошку под шапку, под воротник.

– Уйдем, – просила Маша.

– Надо ехать.

И они ждали. Маша перестала чувствовать пальцы ног. Осип подпрыгивал, стараясь согреться. Наконец из-за поворота моргнули два желтых зрачка, и красно-желтый автобус, похожий на булку хлеба, натужно тарыхтя двигателем, остановился. Маша с трудом ступила на высокую подножку, придерживая огромный, выпирающий живот.

В салоне было ненамного теплее, чем снаружи, пахло бензином и выхлопными газами. Автобус был почти пустой – два мужика клевали носом на задних сидениях. Сильно трясло на ухабах.



В Житнице их ждали друзья Осипа. Все должны были сделать одним днем и сразу уехать домой.

Маша прислонилась лбом к замерзшему стеклу. За окном ревели мглы. Почему-то подумала о Гавриле, где он сейчас?

Через час что-то застучало под днищем и автобус, кряхтя и постанывая, замедлил ход, а через минуту и вовсе остановился. Зло матерясь, из кабины вышел водитель и нырнул в ночную мглу, мигая фонариком. Мужики на задних сидениях озабоченно оборачивались, глядя в овальные окна, пытаясь угадать, с чем колдует водитель. Из раскрытой двери потянуло холодом.

Наконец, водитель вернулся в салон. Сел в кресло и не спеша закурил вонючую папиросу.

– Все, приехали.

– Что случилось-то? – спросил один из мужиков.

– Генератор накрылся.

– И что? Ты по-русски скажи, мы поедем?

– Все, говорю, приехали.

После этих слов что-то треснуло у Маши в животе, как будто бельевая веревка лопнула, и полились теплые воды.

– Ой, мамочки...

Лицо стало кривым и испуганным.

– Мама, мамочка...

– Эй-эй, ты чего? – испугался Осип, стал трясти ее за плечи. – Ты погоди, погоди...

Мужики молчали, оценивая ситуацию. Водитель продолжал курить, глубоко затягиваясь, не отрывая взгляда от испуганного девичьего лица.

– Я мокрая, – удивленно произнесла Маша.

Водитель щелчком выбросил окурочок в ночь и сплюнул под ноги. Тоненькая струйка пара поднялась от слюны.

– Идти надо. Километров семь осталось.

Мужики не двигались. Глядели на Машу.

– А дойдем? – спросил Осип.

– Куда мы на хрен денемся.

Он грубо улыбнулся: не губами, а всем скуластым трудовым лицом, и добавил, обращаясь к Маше:

– А ты терпи, краля. Как хочешь, терпи. Хоть обратно запихивай.

Пятеро вышли в ночь, четверо мужчин и одна женщина. Водитель шел впереди, освещая тусклым фонариком заметенную дорогу. Сухо скрипел снег под ногами. Свистела метель. Пятеро шли сквозь мглу, и только свет фонаря был для них путеводной звездой, хрупкой ниточкой между жизнью и смертью.

Шли медленно, Маша опиралась одной рукой на плечо мужа, другой поддерживала дрожащий живот. Страха не было. Надо было идти, и она шла.

Страх пришел позже, когда что-то стремительно сжалось и разжалось внизу живота. Она охнула, остановилась.

– Что?

– Не знаю...

И снова, сжалось и разжалось, и еще раз, и еще... Маша заплакала.

– Не могу больше...

Подошел водитель, мигая фонариком, осветил ей в лицо.

– Не надо...

И тогда он ожег фонариком себя и заговорил, перекрикивая вьюгу:

– Слушай меня, баба. Я – Саня Мелихов. Я три раза в атаку ходил, два раза был ранен. Под лопаткой осколок сидит. У меня две звездочки на груди – не за хрен собачий. Я тебя вытащу.

Лицо у него было худое, вытянутое. Черный треух надвинут на затылок. Глубоко впавшие синие глаза глядели твердо и горячо. Тонкие губы плотно сжаты. Шрамик на левой щеке. Борозды морщин. Маша поверила этому человеку. Сказала только:

– Я идти не могу. Схватывает...

– Решим... Эй, братва, – окликнул он мужиков. – Давай-ка, взяли, за руки, за ноги.

Никто не посмел перечить.

Так и шли. Маша обнимала плечи мужа и Сани Мелихова; двое других обхватили ее за колени, упирая свободную руку в мягкий женский зад. Несли сквозь вьюгу и темноту. И лишь тускнеющий свет фонаря освещал дорогу.

Воды выходили по чуть-чуть, на блюдце молока для кошки. Во время ходьбы Маша не чувствовала холода, но когда ее понесли – железная стылость схватила и больше не отпускала; она чувствовала как замерзает намокшее белье. Еще она чувствовала, как устают руки мужчин, наполняются ватой и дрожат, как все чаще подбрасывают ее ноги, чтобы перехватиться поудобнее. Схватки пошли чаще и больше.

Мужчины шли молча, не тратя сил на пустой треп. А Маша глубоко дышала ртом, постанывала. И вдруг она поняла, что умрет этой ночью. Не будет города, не будет ребенка. Она просто замерзнет в этой мгле. И как только она это поняла, как только почувствовала кожей и кровью неотвратимое, – ребенок дернулся и пошел.

– Мамочки... мамочки...

Все поняли.

– Ходу, мужики, – выплюнул водитель. – Ходу, с гулькин хрен осталась...

И они побежали маленькими шажками, матерясь сквозь зубы.

Фонарь тускнел на глазах. Мелкий снег набивался в рот, уши, глаза. И когда казалось, что все бесполезно, что нужно бросить эту бабу посреди дороги и спастись самим, – мелькнул огонек. А когда совсем выбежали за поворот – огонек засветил ярко и надежно, как звезда.

Темп не сбавили, слов не говорили. Берегли дыхание. Но у каждого потеплело на сердце.

Это был колхоз. В нос ударил запах замерзшего навоза. Светилось окно в сторожке.

Саня Мелихов забарабанил кулаками в дверь.

– Открывай... Открывай, сукин сын...

– Кто такие? – раздался за дверью старческий голос.

– Люди. Баба у нас рожает...

– Так вам в город надо.

– Она на крыльце сейчас родит. Сука ты, открой!

И вдогонку взмолился:

– Ну, открой же, отец! Ну...

Маша застонала. А потом звякнула щеколда после долгой – в вечность – паузы. На пороге стоял заспанный дед.

Этот миг застыл в морозном вьюжном воздухе. Дед в сторожке. Со спины бьет свет электрической лампочки. Маша закусывает губу. Возпревшие мужики глядят с ненавистью.

– Сюда несите, – дед показывает на обтянутый мешковиной матрац на полу. – Кровати нет. Не положена.

Машу аккуратно кладут и отходят на пол шага назад. Руки вдруг становятся легкими и воздушными.

– Кипяток нужен, – говорит водитель.

– Сделаем.

Сторож ставит на раскаленную буржуйку ведро воды.

Пахнет скотиной от всех углов.

Маша не может говорить, смотрит затравленно по сторонам. Пытается поймать взгляд мужа, но Осип отводит глаза. Не верит, что все закончится благополучно. И тогда Саня Мелихов опускается перед ней на колени, задирает юбку и стаскивает намокшие, отяжелевшие рейтузы. Рвет нижнее белье.

– Ну-ка, отвернулись все, – рычит.

Все послушно отворачиваются, только Осип стоит и смотрит как замороженный, не в силах пошевелиться.

Кипяток греется долго. В это время Маша кричит, тужится. Ребенок постепенно выходит на свет. Сторож достает из тумбочки ополовиненную бутылку самогона, протягивает Мелихову. Тот щедро ополаскивает руки. Разливается сладкий сивушный запах.

Ребенок выходит медленно. Показывается сморщенная головка.

Маша кричит, ее крик рвет тесное пространство сторожки, устремляется в ночь, в непроглядную тьму. Мужики стоят и смотрят. Дергается веко у Осипа. Мелихов бережно принимает головку ребенка просомоненными руками.

Время и не застыло, и не замерло – завязло в крике, в свете запыленной лампочки, в молчании мужчин. Прошмыгнула мышь под столом.

Маша рвется от крика, грудь ее раскалывает булькающий воздух. Больно. Невыносимо больно. Словно весь белый свет болит у нее в животе.

И вдруг всем становится понятно, что все будет хорошо. С Машей, с ребенком, с миром. Мелихов произносит:

– Ножницы. Или нож. Накалите.

Дед роется в тумбочке и достает огромные ножницы. Вымя коровам резали. Кладет на буржуйку. Через минут ножницы краснеют на концах.

Младенец лежит у Мелихова на ладони, по-тараканьи шевелятся пальчики. Слизь. Кровь. Маша облегченно дышит.

– Режь, – говорит Мелихов Осипу.

Тот в полусне берет ножницы, но обжигается, одергивает руку. И тогда сторож протягивает засаленное полотенце. Осип зажимает полотенцем кольца ножниц и перерезает пуповину. Шипит кровь. Маша вновь кричит, а потом начинает смеяться. Ее не остановить, она хохочет, заливается. Мелихов держит младенца и тоже начинает похохотывать. И уже все хохочут, трясутся от смеха.

Младенец не кричит. Только открывает рот, ищет маму. И Маша протягивает к нему руки. Мелихов передает ребенка матери, и все видят, что это мальчик.

– Можно и покурить, – говорит Мелихов.

Мужчины выходят на улицу.

Тишина.

Стихла метель.

Закуривают. Трещит табак в морозном воздухе.

– Спасибо, – говорит Осип Давыдов.

– Спасибо не булькает, – отвечает Саня Мелихов и улыбается.

– За мной не заржавеет.

– Чудо сегодня случилось. А раз чудо – держи!

Он снимает с запястья часы и протягивает Осипу.

– Пацану отдашь, когда вырастет. Немецкие. Трофейные. Я – Саня Мелихов.

Один из попутчиков лезет за пазуху, достает коробочку, протягивает:

– «Шипр». Раз такое дело... Андрюха меня зовут.

Последний снимает золотую цепочку с шеи и без слов протягивает Осипу.

– Я же... Я... Этот ребенок...

Осип давится словами. Сглатывает. В руках подарки.

– Иди к жене, к сыну, – улыбается Мелихов.

– Да, пойду, пойду.

– Иди.

Осип заходит в сторожку, аккуратно прикрывает за собой дверь.

Три волхва курят морозной ночью.

Смерти больше нет.